Н. Г. Федосеенко

ЛОКУС ПУСТЫНИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НАЧАЛА XIX ВЕКА

Автор статьи проводит сопоставление духовной и романтической литературы на основе семантического анализа лексемы «пустыня» («пустынь»). Проведенный анализ позволил найти не только точки соприкосновения двух, на первый взгляд, контрастных явлений в истории русской литературы, поскольку в том и другом случае есть идея ухода от мира, будь то поиски Бога или бегства от враждебного герою общества, но и выйти на эволюцию романтической литературы в целом.

Ключевые слова: пустыня, странник, скиталец, уход, вера.

N. Fedoseenko

LOCUS OF DESERT IN THE RUSSIAN LITERATURE OF THE BEGINNING OF XIX CENTURY

A comparison of the spiritual and romantic literature on the basis of the semantic analysis of a lexeme "desert" ("deserts") has been carried out. The analysis has allowed to find common points of the two, at the first sight, opposite phenomena in the history of the Russian literature: in both cases there is an idea of leaving the world, whether it be searches of the God or a flight from the society hostile to the hero. It is suggested that the analysis implies an evolution of the romantic literature as a whole.

Keywords: desert, piligrim, wanderer, leaving, faith.

В истории русской литературы локус пустыни получил разное семантическое наполнение [11, с. 32–41; 16, с. 163–171; 19, с. 198–213], восходящее к Библии. В Ветхом Завете появляется образ географически реальной пустыни с песками, зноем, отсутствием воды. Это место испытания человека на веру, поскольку в пустыне человек может только уповать на помощь Бога, которую получил народ Израиля во время перехода к земле обетованной, Бог защитил Агарь и ее сына. В пустыню уходят пророки, там молится Иоанн Предтеча, там можно услышать глас Божий (слово Божие к Моисею). И Иисус проходит искушение сатаны в пустыне.

В христианской традиции пустыней становится любое уединенное место, где человек может без суеты молиться Богу и уповать на Него. В православной культуре, учитывая географическое расположение Руси, пустынью становятся дикий лес, остров на озере или болоте, «русская пустынюшка расположена *во темных лесах, в зеленой дубравушке*» [17, с. 118]. В ней разливаются «*лузья-болота*», прилетают кукушки, в песне которых слышится «плач материнского сердца», «тоска о потерянных птенцах» и «по родовой жизни» [27, с. 73] и «*поют птицы райские архангельскими голосами*» [17, с. 119] для выдержавших испытание пустыней. Такова пустыня, неприступная, требующая трудов от человека и упования на Бога, в агиографической литературе.

В своем символическом значении пустыня — место близости к Богу, «она связывает *мир* и *рай*, являясь между ними посредником. ‹…› Пустыня расположена на земле. Если в пространстве земля и небо, отчасти рай и ад противопоставлены по вертикали, то мир и пустыня — по горизонтали» [17, с. 118]

В духовных стихах, нередко являющихся переложением житийной литературы, образ пустыни — дотварный мир, девственная мать (образ, восходящий к образу Богоматери): «христианизируясь, подчиняясь закону аскезы, мать-земля превращается в пустыню — девственную мать» [27, с. 72]. Географические реалии становятся сознательным испытанием, насылаемым пустыней на человека, отправляющегося очищаться в пустыню [27, с. 65–78; 11, с. 32–41; 19, с. 198–213].

Мир прелестен, но и пустыня прекрасна своим уединением и близостью к Богу:

Кто бы мне, мне поставил
Прекрасную пустыню,
Кто бы мне построил
Не на жителном, тихом месте,
Чтобы мне не слышать
Человеческаго гласа,
Чтобы мне не видеть
Прелестнаго сего мира,
Дабы мне не зрети
Суету-прелесть света сего,

Дабы мне не желать
Человеческия славы.
Начал бы горько плакать,
Грехов своих тяжких ради.
Кому повем грехи своя,
Кому объявлю беззакония?
Токмо Тебе, Владыко мой, —
Ты буди мне избавитель.
Подаждь ми, Христе Боже,
Злым грехом моим всем простыню.
Аминь.
(«Стих о пустынном уединении» [1, с. 231]).

Любопытно, что в духовном стихе-переложении жития Алексея, Божьего человека, певцов-сказителей не интересует его житие в пустыни. Пустыня — место его становления, прошел этот этап — вернулся в свой дом неузнанным. Значимы его отношения с семьей, больше житейское, а не житийное начало. Чаще всего речь идет просто о пустынножительстве («Тогда ушел Олексей да во пустынички» [1, с. 545]), иногда вносятся уточнения («принесло его в пустыню незнакому» [1, с. 593]; «Поежжяй-ко во Иньдейскую пустыню» [1, с. 701], пустыня может быть подменена «соборной Божьей церквой» [1, с. 748-751]). Тридцать лет проводит Алексей в пустыни в молитве, только в одном из вариантов уточняется аскеза его жизни: «На всяку суботу причащалсэ, / На всяку недельку ел просфорки» [1, с. 593].

Распространенный сюжет в духовных стихах — и разговор Иоасафа с пустыней [22, с. 79–91]. Образ пустыни, представленный в слове Иоасафа, не совпадает с пустыней географической, главное — одиночество (в печатном издании): «Ветвие твое зеленое, / движущееся от воздуха малых ветров, / и пойду в лузе по красному твоему винограду. / И буду яко дивий зверь / един скитаться и бегая человек» [22, с. 81]. В народных стихах пустыня становится прекрасным местом, близком к раю: в пустыне царевич «разгуляется ‹…› во зеленой во дубраве» под говор «мелких листьев» и пение «райских птиц» [22, с. 81, 83] «Дубровица», «виноградие», «красное виноградие», «различные цветеца», «древ ветвие кудрявое», «веселая дубровица» — таков мир пустыни в духовных стихах.

Трудное житие в пустыне связано не с географическим пространством, а с агиографическим — в русской традиции — жизнь в лесу: «Мы питаемся во пустыни / Мы еловою корою, / Мы пьем во пустыни / Мы болотную воду» [22, с. 84].

Итак, изначально лексема «пустыня» имеет разное семантическое наполнение. Прежде всего, это географическая пустыня, с песком и зноем, связанная либо с одиночеством человека, его испытанием, либо, вдали от суеты людской, становится местом встречи с Богом. В семантике слова заложена «пустота» дотварного мира, чистота, поэтому вне мира людского возможна встреча равно с Богом и Дьяволом. Искушение Иисуса проходит в пустыне не случайно, подчеркивается тем самым и Его одиночество, это испытание только Его.

В агиографической литературе сохраняется в семантике «пустыни» значение места испытания человека, места, трудного для жизни, в котором и выстраивается скит для уединенного служения Богу, однако образ пустыни начинает терять свою ландшафтную конкретность. Пу́стынь — любое уединенное место [14, с. 302], посему пустынника могут посещать медведи и другие вовсе не пустынные обитатели окружающей скит среды.

В духовных стихах теряется уже полностью географическое значение пустыни. Это место одиночества и уединения, которое скорее связано с лесом (дубравой), чем с песками. Вероятно, объясняется топографически: в центральной России, особенно на уровне внелитературного сознания, хронотоп пустыни легко замещается хронотопом леса (оди-

ночество, уединение, таинственность и возможная опасность внешнего мира): «Во зеленой во дубраве есть частые древа — со мной будут думу думати; на древах есть мелкия листья, со мной станут говорити» [2, № 52].

Но это и место переходное от земли к раю. Происходит своеобразный обряд инициации: для тех, кто выдержал испытание, пустыня из неласковой и суровой земли становится местом прекрасным и радостным. Она наполняется цветами и «виноградием» [21, с. 303–304, 374–377]. Оставаясь удаленной от мира, пустыня обретает сказочную красоту и изобилие, становясь «предтечей» рая. Семантика, близкая к агиографическим текстам.

Пустыня и пустынь в романтизме

В русской литературе начала XIX века довольно часто встречается образ пустыни, по заложенной в нем многозначности легко перерастающий в мотив. Нередко пустыня появляется в произведениях романтиков, поскольку романтический герой в силу своей противопоставленности миру и невозможности найти свое место ни в своем, ни в экзотическом хронотопе, — вечно мятущийся герой. Отсюда его неизменная характеристика — бегство, бегство в экзотический мир, бегство из мира, бегство в топографическое пространство «без людей». Одно из первых произведений литературы XIX века, где начинает звучать мотив пустыни, — переводы баллады Голдсмита «The Hermit» («Отшельник»). Любопытно, что во всех русских переводах, начиная с прозаического «Векфилдского священника» Н. И. Страхова 1786 г. [26, с. 124–137], используется слово «пустынник», а не «отшельник», как требовал того подстрочный перевод. У Н. И. Страхова совмещаются географическое пространство («чем ближе подойти хочу, то осыпается подо мною песок и разстояние новые полагает преграды <…> едина гибель там <…>») с темой уединения и темой святости пустынника (пустынник как житель *пу́стыни*, о чем свидетельствует и высокая лексика: «агнца», «предвечное Бытие», «обиталище, в коем небо и мудрость водворили покой») [26, с. 126]. Однако и здесь пустыня — больше метафора страстной любви, чем сюжетообразующий компонент, поскольку в конце текста речь идет только о любви; о пространстве, уединении и схимничестве забывается. П. Политковский в переводе 1809 г., «во всем … как бы отталкивается от перевода Страхова» [26, с. 132], но сохраняет только одно значение — *пу́стыни* («сии места, где обитает / Небесна благодать и ты»).

В свете заявленной проблемы наиболее интересен перевод В. А. Жуковского 1812 года, в название баллады уже вынесено значение «Пустынник». Как отметил В. А. Топоров, Жуковский «смягчил язык страсти», «несколько затушевал отдельные детали, казавшиеся, видимо, слишком смелыми» [26, с. 134], добавим — и расширил семантику пустыни: это *пу́стынь* («пустыни житель, святой анахорет»), это и экзотический мир, подчеркивающий одиночество героя в мире без людей (пустыня — от слова «пусто»), поэтому с семой пустыни связана и тема смерти: «Несчастный! Он не снес презренья; / В пустыню он помчал / Свою любовь, свои мученья — / И там в слезах увял. / Но я виновна; мне страданье; / Мне увядать в слезах; / Мне будь пустыня на изгнанье, / Где скрыт Эдвинов прах» [10, с. 28].

Итак, в эпоху преромантизма становится важной пустыня как место уединения героя в мире без людей, но теряется значение пу́стыни: несколько парадоксальна подмена уединения богомольца, ушедшего от сует, уединением счастливых влюбленных.

В 1820-е годы для литературы становится значимой географическая конкретность пустыни как безлюдного и мало пригодного для жизни пространства, что, вероятно, первоначально связано с романтической эстетикой, с интересом к экзотическому миру. Мотив пустыни в творчестве Пушкина появляется в его первой романтической поэме «Кавказский пленник» (1820 г.). Сила чувства Черкешенки выражается в желании: «Скрываться рада я в пустыне / С тобою, царь души моей!» [20, с. 119]. Лермонтов, со сути, пересказывая пушкинского «Пленника», не использует слова «пустыня»: «готова я / С тобой бежать на край вселенной» [13, с. 34]. Итак, Пушкин с его склонностью к реалистичности вводит в поэму образ географического плана.

Слово Пушкина было услышано, и аноним в поэме 1828 года «Любовь в тюрьме» развернул мотив пустыни: герои пытаются бежать в пустыню, «безводную и безлесную», с «тяготою солнца знойного». Вторая часть поэмы так и называется «Пустыня». Географическое пространство, однако, напоминает сказочную топографию, восходящую к духовным стихам,* поскольку идущие на поклонение насадили в пустыне целые рощи, там журчат ручьи, растут цветы и летают стрекозы [15, с. 182–183]. Отметим еще один возможный вариант пребывания в пустыне — паломники выступают здесь в роли сеятелей, не в притчевом, но в буквальном значении этого слова — насеяли / насадили сады.

Впрочем, трудно судить о топографических особенностях описываемого пространства, поскольку чего в пустыне только нет: и горы есть («дикие высоты пустынные»), и плоды растут (айва, гранаты), и грозы здесь бывают, загадочна флора (растут «пальма, явор, дуб), дубравы сменяются лесами и т. д. Не случайно такая у героя мечта: «Ах! Раз бы, раз бы поглядеть / В пустыне на красу природы, / На мрак ночей, на радость дня, / На горы, на леса, на воды ‹…›» [15, с. 194].

Лексема «пустыня» нередко подменяется в качестве синонимичной лексемой «степь».

Пустыня связана и с темой уединения влюбленных, как и у Пушкина:

О, если сердца твоего
Боишься над собою власти,
В *пустыню* не неси его —
Все сильные *пустынны* страсти
В *уединенье* их вводить…

И далее:

Ужель не сильны были вы
Сокрыть в *убежищах пустынных*
Блаженство двух сердец невинных
От света, злобы и молвы
[15, с. 180, 183].

Счастье в пустыне сменяется насильственным возвращением беглецов в мир людей, где **сразу же** погибает героиня. Итак, пустыня несет жизнь, в отличие от губительного общества, соприкасаясь тем самым со значением пустыни в духовных стихах.

Обращение к географической пустыне более точно в разного рода тропах, используемых для подчеркивания своего одиночества, в отсутствии любви и заботы и т. д. [41, с. 223].

Как и в древнерусских текстах, пустыня — место одиночества человека. Романтизм, культивирующий одиночество, не мог не использовать этот мотив. Так пленник в поэме Мошкова, оказавшись среди разбойников в России, «к пустыне привыкал». Топографической трактовке не соответствует описание природы («брега, скалы крутые», «темный лес», «бор»).

Чаще всего пустыня прочитывается как «пустота», отсутствие жизни, людей и проч., что было уже в Ветхом Завете.

Именно в этом значении пустыня используется и в поэме-мистерии Дж. Г. Байрона «Небо и Земля» при описании потопа («пустыня взор не оживит ничей»), обилие воды потопа выводит и к образу реальной пустыни: «моря препоны все срывают, / Самой пустыни жажду утоля!». В этом значении «пустыня» проходит и через ряд русских романтических поэм [8, с. 427].

В романтической поэме при обращении к мотиву пустыни практически утрачивается значение пу́стыни, значимы мотивы одиночества, уединения, страсти. С интересом русской романтической поэмы байронического типа к экзотике авторы пытаются пустыню связать с топографическими особенностями, однако географическая пустыня их все-таки не интересует.

Романтическая повесть в стихах — а позднее и прозаическая романтическая повесть — осваивает не только предшествующий романтический опыт, но и опыт ранних реалистических произведений. Например, оценка Татьяны в начале своего слова-отповеди Онегину деревенской жизни как пустыни используется Е. Шаховой в «Изгнаннике» [31, с. 198]. Но в целом для романтической повести в стихах важнее контр-оппозиция: не деревня–пустыня, а свет–пустыня для мыслящего и чувствующего человека.

В романтической повести в стихах немало бытовых деталей, важна семья, поэтому появляется достаточно устойчивое употребление лексемы, связанное с кладбищем как с традиционно пустынным местом [32, с. 164].

В повести в стихах появляется и топографически более конкретный образ пустыни. Ясно, по крайней мере, что место это знойное [7, с. 260, 272] и песчаное [9, с. 274–275].

Наконец, с внесением христианских мотивов возвращается утраченное было литературой значение пу́стыни. В пустынь советует автор удалиться младшей сестре в «Изгнаннике» Е. Шаховой: «давно бы ей пора / Отстать от горести преступной, / Заняться мыслию иной, / Или в обители пустынной / Сложить с души еще невинной / Всю тягость смут тоски земной‹…›» [31, с. 241].

Итак, романтическая литература выстроила семантический ряд, связанный с пустыней. Большая часть значений так или иначе обусловлена бегством и одиночеством героя, отсюда пустынными (миром без людей) могут быть «леса, скалы, равнины» [15, с. 183], впрочем, появляются и иные значения для сравнения, большей эмоциональности, для подчеркивания героизма образа героя.

Географическая пустыня теперь — не мир уже условной экзотики, а вполне топографически конкретное пространство.

Романтическая проза продолжает аккумулировать открытия предшествующих жанров, при этом педалируется социальное начало и подчеркиваются индивидуальность и трагизм героя / героини, находящихся вне этого социального мира с его ценностями. Свет-пустыня — это уже не метафора, а некое клише, принятое романтической литературой [18, с. 97, 486; 5, с. 204–210; 3, с. 330], причем к характеристике света-пустыни нередко добавляются и топографические реалии. В поздней романтической повести мотив пустыни многомерен, как, например, в повести Е. Ганн «Суд света». Это и пустота света, наполненная географическими реалиями: «‹…› жила в свете как в пустыне, где лишь камни да перелетные облака были моими свидетелями», «людские мнения считала миражом, который никого не прохладит, не утолит ничьей жажды, а обманет тех только, кто смотрит на предметы издали, сквозь этот лживый пар». Библейское и топографическое начало связаны и в теме хлебов в пустыне: «‹…› капитал, напрасно вверенный человеку, заброшенному в пустыню, где нуж-

но было ему не золото, а кусок хлеба» [5, с. 359, 360, 362].

Спасительным источником в пустыне света может быть любовь. И вновь географическая подоснова метафорического образа вполне реальна: «В приюте, созданном мне вашей любовью, отдохнула и освежилась душа моя, опаленная в знойной пустыне света», «чистая и робкая любовь» противопоставлена страсти, близкой к пустыне: «Страсть охмеляет рассудок, обуревает чувства, мнет и жжет их, как аравийский вихрь жжет нежный цвет, случайно выросший на камне» [5, с. 365]. Любопытно, что в расхожей фразе: жить «без вас — пустыня, с вами — рай» [3, с. 252] можно увидеть более глубокий смысл, уходящей корнями в культуру духовных стихов: пустыня как место, переходное к раю.

Так вновь возвращается тема пу́стыни в литературу. Для Преступницы М. Погодина жизнь отшельников в необитаемых пустынях, дремучих лесах, вдали от людей — вариант райской жизни на земле.

Все более значимыми становятся библейские и агиографические ассоциации. Например, у А. Бестужева-Марлинского в повести «Он был убит» встречаем фразу: «вопль отчаяния в пустыне», явно перефразирующую библейское: «глас вопиющего в пустыне».

Для романтической литературы с ее интересом к экзотике значима и географическая пустыня**. В отличие от духовных стихов и Библии пустыня — не место спасения человека и приобщения его к высшему («Я и в пустыне не ушел от печали»), но и само это место ущербно, если не проклято: «осудит природа какой-нибудь край на пустыню». Впрочем, чаще пустыня — любое уединенное место: «пустынное поле», «пустыня океана», «пустынное море», лес («все дичь, лес и пустыня»), пустыня неба. В ландшафтной характеристике пространства — главное «пустота», мир без людей, одиночество. Любопытно, что в стремлении бегства от людей уравниваются далеко не синонимичные семы: «Уехать от них — в провинцию, в пустыню, в лес, в Италию!» [24, с. 307]. Подобный ряд выстроит Печорин: «мне осталось одно средство: путешествовать. Как только будет можно, отправлюсь — только не в Европу, избави боже! — поеду в Америку, в Аравию, в Индию, — авось где-нибудь умру на дороге!» Бегство без конечной цели. И у Лермонтова более безотрадно, чем у Тимофеева, где семантический ряд заканчивался Италией — традиционным местом паломничества художников.

Тема пу́стыни не только не уходит из литературы, но становится более значимой, чем в предшествующих жанрах, с появлением индивидуализации героя и его судьбы. Как правило, она связана с женской судьбой***. Достаточно сложно изображение пу́стыни в «Эмме» Н. Полевого, поскольку описание монастыря дано через восприятие монастырского житья лютеранкой, на которую он произвел неоднозначное впечатление. С одной стороны, это «гроб живых мертвецов, которые оберегают могилы мертвых», с другой стороны, это «святое место успокоения, обещанное Спасителем» [18, с. 335].

В этих определениях заложено уже несколько значений пустынножительства, важных в древнерусской литературе и культуре: уединение, жизнь вне мира, место, приближенное к Богу («в монастырях ‹…› сам Спаситель сойдет святым утешением в душу страдальца!») [18, с. 336]. Возникает образ мира времен первых христиан и географическая пустыня, связанная с их местом жительства [18, с. 337] и появляется младенец Христос, внесенный во храм Иерусалимский. Здесь пу́стынь — переход от мира земного к внеземному, поэтому монахи сопоставимы с мертвецами, а молитва —

с загробной песнью, принесенной из другого мира.

Итак, интерес к географической пустыне обусловлен культивированием романтиками одиночества и разочарования и интересом к экзотическому пространству. Радость от пребывания в пустыне возможна только в случае уединения влюбленных. Более значимыми становятся библейские и агиографические ассоциации, что также связано с романтическим интересом к уходу героя из мира других людей; здесь прослеживается связь и с духовной лирикой, и с евангельским текстом. Пустыня — в любом случае — место безлюдное, в том числе таковым воспринимается и светское общество — толпа, в которой трудно найти понимающего и любящего человека.

* * *

Дальнейшую многомерность мотив пустыни получает в лирике Пушкина, что связано с тяготением поэта к реалистичности, а посему пустыня не могла оставаться образом метафорическим. Географический топос пустыни в сочетании с семантикой одиночества и места, открытого Богу, звучит в «Подражаниях Корану» (1824), особенно в VI и IX стихах. Уже неоднократно отмечалось, что Пушкин весьма свободно перелагает текст Корана [25, с. 18–45]. Любопытно, что при всей свободе переложения в соответствующих главах Корана ни разу не упоминается пустыня, меж тем как у Пушкина мотив становится сюжетообразующим. Может быть, с помощью мотива пустыни Пушкин хотел показать экзотичность описываемого им мира «пла-менных пустынь» «со зноем и пылью», с оазисом: «кладезь» под «пальмой пустынной».

Так или иначе, но пустыня приобретает все большую конкретность. Географическая акцентировка отличает и стихотворение Ф. Глинки 1822 года «Призвание Исайи», открывающее ряд «Пророков» в литературе: «Вещай: Не я ль тебя лелеял / И на руках моих носил? / Тебе в пустынях жизнью веял, / Тебя в безводии поил…» [6, с. 197].

Для Пушкина же с 1826 года, со стихотворения «Пророк», перестает быть значимой экзотическая ценность пустыни, для него пустыня теперь наполняется духовными ценностями. Данное стихотворение неоднократно было в центре изучения пушкинистов [12, с. 107–110]. Сопоставлялся текст с главой VI книги Исайи, С. А. Фомичев находит сходство с Кораном [30, с. 176]. Мотив пустыни позволяет выйти дополнительно на ряд смыслов стихотворения. Рождение Пророка происходит словно бы в «дотварном» мире, мире до Света и до Слова: «пустыня мрачная», без людей и без света. С посланцем Бога, шестикрылым Серафимом, открывается мир, разделяются небо и море: «И внял я неба содроганье, / И горний ангелов полет, / И гад морских подводный ход». Пока Пророк не наделен даром Слова — нет мира других людей («Как труп в пустыне я лежал»), только после получения «глагола» открывается мир, населенный людьми («глаголом жги сердца людей»). Таким образом, рождение Пророка тесно связано с сотворением мира.

В дальнейшем в лирике Пушкина сохранится мотив пустыни в разных его значениях: в топографическом («Анчар») или в духовном (пу́стынь: «Отцы пустынники и жены непорочны»).

Мотив пустыни может приобретать и психологический оттенок, например, в слове Татьяны в 8-й главе «Евгения Онегина». Благодаря мотиву пустыни переход Татьяны от себя — светской дамы к себе в прошлом не является неожиданностью. Слово-урок начинает светская дама, помнящая обиду («проповедь», «суровость»), немного кокетничающая («Я

тогда моложе, / Я лучше, кажется, была») и немного мстительная («сегодня очередь моя»). Для этой Татьяны прошлое — пустыня («Тогда — не правда ли? — в пустыне, / Вдали от суетной молвы…»). Этот мир явно противопоставлен свету уединением, безвестностью и пустотой. Постепенно просыпаются прежние чувства в душе Татьяны, и пустынный мир прошлого наполняется ценностями: «полка книг», «дикий сад», «те места, где в первый раз, / Онегин, видела я вас», воспоминания о няне. Уходит пустота пустыни — и Татьяна уже не может гордиться своим положением, как вначале своего слова («Что нас за то ласкает двор…») — для нее остается важным прошлое: «А счастье было так возможно, так близко!..» [29, с. 28–31].

К романтическому значению мотива вновь обратился М. Ю. Лермонтов. В целом романтическое значение близко к аскетизму. Не случайно С. Булгаков, говоря об аскетическом подвижничестве, прибегает к романтическим и лермонтовским, в том числе скрытым цитатам: «Борьба с миром приводит к стремлению уйти от него, объявить ему войну …. Для того, кто услышал небесные звуки, становятся скучны песни земли, и для того, кто познал радость богообщения, падением кажется всякое, даже и самое невинное мирообщение. Антитеза Бога и мира напрягается при этом до последней степени, ради Бога отвергается мир — такова основа христианской аскетики» [4, с. 148].

Пустыня становится ключевым словом в эволюции замысла поэмы «Демон» и образа Демона. Так, в 1829 году лексема в значении пустоты души была характеристикой Демона: «В нем *пусто, пусто, как в пустыне* / Смертельный след напечатлен / На том, к чему он прикоснется…».

В 1830 — подчеркивается положение героя вне земли и его одиночество: «В изгнанье жизнь его текла. / И грешным взором созерцал / Земли *пустынные* равнины».

1831–1834 — усиливается тема одиночества: «Уныло жизнь его текла / В пустыне Мира».

В дальнейшем только изменяется категория времени. В редакции 1838 г.: «С тех пор отверженный блуждал / В пустыне мира, без приюта». Наконец, в основной редакции мир бесконечно удаляется в прошлое: «Давно отверженный блуждал…».

Итак, мотив пустыни в основной редакции поэмы зиждется на теме одиночества, вызванного богоборчеством Демона. Это же значение важно и в лирике Лермонтова, особенно в его последних поэтических текстах. Тема одиночества здесь достигает максимума, поскольку лирический герой оказывается вне мира людей, как, например, в стихотворении «Выхожу один я на дорогу…». Мир Земли для героя — пустыня. Небеса больше наполнены жизнью, чем земля, но и они чужды лирическому герою, его мир — мир дисгармонии во всем и со всем:

Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.
В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно и так трудно…

Лирический герой Лермонтова в этом стихотворении вне пространства и вне времени («уж *не жду* от жизни ничего я, / И *не жаль* мне *прошлого* ничуть…»), как и в поэме «Демон».

Более традиционно мотив пустыни звучит в лермонтовском «Пророке». Становятся важными топография пустыни и уединения, связанного с мотивом избранности безумца, противопоставленного толпе. Традиционно сопоставлялись пушкинский и лермонтовский «Пророки» и каждый раз подчеркивались их отличия. Это очевидно и в области используемого мотива пустыни. Лермон-

това не интересует становление пророка, его интересует судьба пророка в мире, т. е. если у Пушкина мир «дотварный», то у Лермонтова он населен *вечной* толпой («старцы детям говорят»). Гармония с миром возможна только вне мира людей: «в пустыне я *живу* … Мне тварь покорна там земная; / И звезды слушают меня…». Пустыня — далеко не мертвое пространство, именно там и возможна жизнь.

Так вновь становится значимым локус пустыни как уединения героя в мире без людей, но при этом теряется топографическая конкретность пространства, оно наполняется рощами и ручьями, теряется и значение пу́стыни [28, с. 35]. С интересом к народному творчеству в начале XIX века мотив пустыни наполняется образами и значениями, важными для духовных стихов. Так или иначе, пустыня обретает достаточно устойчивую семантику: это — место, противопоставленное людям, семантика наиболее отчетливо проявляющаяся в лермонтовском «Пророке», при этом возвращается один из первоначальных смыслов: это — место единения с Богом. Другими словами, локус пустыни идеален для подчеркивания уединения, связанного с мотивом избранности безумца, противопоставленного толпе.

ПРИМЕЧАНИЯ

* Можно предположить знакомство с образом пустыни через духовные стихи, поскольку тексты были достаточно широко известны в начале XIX в.

** Особенно в романе-путешествии А. Ф. Вельтмана «Странник» (пустыни Гетские, Аравийские, пустыня Заара, пустыня Гоби) и в «Мулла-Нуре» Бестужева-Марлинского.

*** Так, героиня поэмы Ф. Соловьева «“Московский пленник”, москвитянка молодая», ушла жить в монастырь, разочаровавшись в любви. Второй путь ухода. Первый — путь пушкинской Черкешенки, суицид. Уходит в монастырь Эмма Н. Полевого, приходит к Богу Ольга Е. Ган («Идеал»).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беломорские ста́рины и духовные стихи: Собрание А. В. Маркова СПб.: Дмитрий Буланин, 2002. 1079 с.
2. *Бессонов П.* Калеки перехожие: Сб. стихов и исследование: В 2 ч. Ч. 1. М.: Типогр. А. Семона, 1986. 852 с.
3. *Бестужев-Марлинский А. А.* Сочинения: В 2 т. М.: Худож. лит., 1981. Т. 1. 487 с.
4. *Булгаков С.* Героизм и подвижничество. М.: Русская книга, 1992. 536 с.
5. *Ган Е.* (*Зенеида Р-ва*) Полн. собр. соч. СПб.: Н. Ф. Мертц, 1905. 840 с.
6. *Глинка Ф.* Призвание Исайи // Поэты пушкинской поры. М.: Худож. лит., 1985. С. 197–199.
7. *Данилевский Г.* Гвая-Ллир, или Мехиканские ночи // Русская романтическая поэма: Первая половина XIX века: Хрестоматия: В 2-х т. Т. 2 / Сост., подготовка текстов и комментарии Н. Г. Федосеенко. Белово, 2003. С. 242–272.
8. *Дрейгарфен М.* Кольцо // Русская романтическая поэма: Первая половина XIX века: Хрестоматия: В 2 т. Т. 1. Белово, 2003. С. 420–439.
9. Духовской. Ослепленный // Русская романтическая поэма: Первая половина XIX века: Хрестоматия. В 2-х т. Т. 2. Белово, 2003. С. 273–293.
10. *Жуковский В. А.* Соч.: В 3 т. Т. 2. М.: Худож. лит, 1980. 493 с.
11. *Журавель О. Д.* «Мать-пустыня»: К проблеме изучения народно-христианских традиций в культуре старообрядчества // Проблемы истории, русской книжности, культуры и общественного сознания: Сб. научн. трудов. Новосибирск, 2000. С. 32–41.
12. Коран. М.: «АНС-Принт» Ассоциации «Новый стиль», 1990. 512 с.
13. *Краваль Л. А.* «…И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился» // Пушкинская эпоха и Христианская культура. Вып. VI. СПб., 1994. С. 107–110.

14. *Лотман Ю. М.* Символические пространства // Семиосфера. СПб.: Искусство, 2001. С. 297–335.

15. Любовь в тюрьме // Русская романтическая поэма: Первая половина XIX века: Хрестоматия: В 2 т. Т. 1 / Сост., подготовка текстов и комментарии Н. Г. Федосеенко. Белово, 2003. С. 154–194.

16. *Меднис Н. Е.* Мотив пустыни в лирике Пушкина // Сюжет и мотив в контексте традиции: Сб. научн. трудов. Новосибирск, 1998. С. 163–171.

17. *Никитина С. Е.* Устная народная культура и языковое сознание. М.: Наука, 1993. 187 с.

18. *Полевой Н.* Избр. произведения и письма. Л.: Худож. лит., 1986. 584 с.

19. *Полетаева Е. А.* «Уход в пустыню» в древнерусской и старообрядческой традиции (на материале северно-русской агиографии и старообрядческих сочинений) // Уральский сборник. История. Культура. Религия. Екатеринбург, 1998. С. 198–213.

20. *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. 4. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 595 с.

21. Ранняя русская лирика: Репертуарный справочник музыкально-поэтических текстов XV–XVII в. / Сост. Л. А. Петрова и Н. С. Серегина. Л.: БАН, 1988. 410 с.

22. *Соколов Ю. М.* Весна и народный аскетический идеал // Русский филологический вестник. 1910. № 3. С. 79–91.

23. *Соловьев Ф.* Московский пленник // Русская романтическая поэма: Первая половина XIX века: Хрестоматия: В 2 т. Т. 1. Белово, 2003. С. 130–153.

24. *Тимофеев А. В.* Художник (1834) // Искусство и художник. Л., 1989. С. 237–-320.

25. *Томашевский Б. В.* Пушкин. Кн. 2. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 576 с.

26. *Топоров В. Н.* Пушкин и Голдсмит в контексте русской Goldsmithiana'ы: К постановке вопроса. Wien, 1992. 224 с.

27. *Федотов Г.* Стихи духовные. (Русская народная вера по духовным стихам). М.: Прогресс, Гнозис, 1991. 185 с.

28. *Федосеенко Н. Г.* Мотив пустыни в русской литературе XIX века // От текста к контексту: Сб. научн. ст. Ишим, 2002. С. 34–41.

29. *Федосеенко Н. Г.* Романтическая поэма и эволюция русского реалистического романа: Дис. … канд. филол. наук. Л., 1988. 220 с.

30. *Фомичев С. А.* Поэзия Пушкина: Творческая эволюция. Л.: Наука, 1986. 304 с.

31. *Шахова Е.* Изгнанник // Русская романтическая поэма: Первая половина XIX века: Хрестоматия: В 2 т. Т. 2. Белово, 2003. С. 195–241.

32. *Шахова Е.* Перст Божий // Русская романтическая поэма: Первая половина XIX века: Хрестоматия: В 2 т. Т. 2. Белово, 2003. С. 129–164.

Эйхенбаум Б. М. Статьи о Лермонтове. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 372 с.

REFERENCES

1. Belomorskie stáriny i duhovnye stihi: Sobranie A. V. Markova SPb.: Dmitrij Bulanin, 2002. 1079 s.

2. *Bessonov P.* Kaleki perehozhie: Sb. stihov i issledovanie: V 2 ch. Ch. 1. M.: Tipogr. A. Semona, 1986. 852 s.

3. *Bestuzhev-Marlinskij A. A.* Sochinenija: V 2 t. M.: Hudozh. lit., 1981. T. 1. 487 s.

4. *Bulgakov S.* Geroizm i podvizhnichestvo. M.: Russkaja kniga, 1992. 536 s.

5. *Gan E.* (Zeneida R-va) Poln. sobr. soch. SPb.: N. F. Mertc, 1905. 840 s.

6. *Glinka F.* Prizvanie Isaji // Pojety pushkinskoj pory. M.: Hudozh. lit., 1985. S. 197–199.

7. *Danilevskij G.* Gvaja-Llir, ili Mehikanskie nochi // Russkaja romanticheskaja poema: Pervaja polovina XIX veka: Hrestomatija: V 2-h t. T. 2 / Sost., podgotovka tekstov i kommentarii N. G. Fedoseenko. Belovo, 2003. S. 242–272.

8. *Drejgarfen M.* Kol'co // Russkaja romanticheskaja poema: Pervaja polovina XIX veka: Hrestomatija: V 2 t. T. 1. Belovo, 2003. S. 420–439.

9. Duhovskoj. Osleplennyj // Russkaja romanticheskaja pojema: Pervaja polovina XIX veka: Hrestomatija. V 2-h t. T. 2. Belovo, 2003. S. 273–293.

10. *Zhukovskij V. A.* Soch.: V 3 t. T. 2. M.: Hudozh. lit, 1980. 493 s.

11. *Zhuravel' O. D.* «Mat'-pustynja»: K probleme izuchenija narodno-hristianskih tradicij v kul'ture staroobrjadchestva // Problemy istorii, russkoj knizhnosti, kul'tury i obschestvennogo soznanija: Sb. nauchn. trudov. Novosibirsk, 2000. S. 32–41.
12. Koran. M.: «ANS-Print» Associacii «Novyj stil'», 1990. 512 s.
13. *Kraval' L. A.* «…I shestikrylyj Serafim na pereput'e mne javilsja» // Pushkinskaja epoha i Hristianskaja kul'tura. Vyp. VI. SPb., 1994. S. 107–110.
14. *Lotman Ju. M.* Simvolicheskie prostranstva // Semiosfera. SPb.: Iskusstvo, 2001. S. 297–335.
15. Ljubov' v tjur'me // Russkaja romanticheskaja poema: Pervaja polovina XIX veka: Hrestomatija: V 2 t. T. 1 / Sost., podgotovka tekstov i kommentarii N. G. Fedoseenko. Belovo, 2003. S. 154–194.
16. *Mednis N. E.* Motiv pustyni v lirike Pushkina // Sjuzhet i motiv v kontekste tradicii: Sb. nauchn. trudov. Novosibirsk, 1998. S. 163–171.
17. *Nikitina S. E.* Ustnaja narodnaja kul'tura i jazykovoe soznanie. M.: Nauka, 1993. 187 s.
18. *Polevoj N.* Izbr. proizvedenija i pis'ma. L.: Hudozh. lit., 1986. 584 s.
19. *Poletaeva E. A.* «Uhod v pustynju» v drevnerusskoj i staroobrjadcheskoj tradicii (na materiale severno-russkoj agiografii i staroobrjadcheskih sochinenij) // Ural'skij sbornik. Istorija. Kul'tura. Religija. Ekaterinburg, 1998. S. 198–213.
20. *Pushkin A. S.* Poln. sobr. soch.: V 10 t. T. 4. M.: Izd-vo AN SSSR, 1963. 595 s.
21. Rannjaja russkaja lirika: Repertuarnyj spravochnik muzykal'no-poeticheskih tekstov XV–XVII v. / Sost. L. A. Petrova i N. S. Seregina. L.: BAN, 1988. 410 s.
22. *Sokolov Ju. M.* Vesna i narodnyj asketicheskij ideal // Russkij filologicheskij vestnik. 1910. № 3. S. 79–91.
23. *Solov'ev F.* Moskovskij plennik // Russkaja romanticheskaja poema: Pervaja polovina XIX veka: Hrestomatija: V 2 t. T. 1. Belovo, 2003. S. 130–153.
24. *Timofeev A. V.* Hudozhnik (1834) // Iskusstvo i hudozhnik. L., 1989. S. 237–-320.
25. *Tomashevskij B. V.* Pushkin. Kn. 2. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1961. 576 s.
26. *Toporov V. N.* Pushkin i Goldsmit v kontekste russkoj Goldsmithiana'y: K postanovke voprosa. Wien, 1992. 224 s.
27. *Fedotov G.* Stihi duhovnye. (Russkaja narodnaja vera po duhovnym stiham). M.: Progress, Gnozis, 1991. 185 s.
28. *Fedoseenko N. G.* Motiv pustyni v russkoj literature XIX veka // Ot teksta k kontekstu: Sb. nauchn. st. Ishim, 2002. S. 34–41.
29. *Fedoseenko N. G.* Romanticheskaja poema i evoljucija russkogo realisticheskogo romana: Dis. … kand. filol. nauk. L., 1988. 220 s.
30. *Fomichev S. A.* Pojezija Pushkina: Tvorcheskaja jevoljucija. L.: Nauka, 1986. 304 s.
31. *Shahova E.* Izgnannik // Russkaja romanticheskaja pojema: Pervaja polovina XIX veka: Hrestomatija: V 2 t. T. 2. Belovo, 2003. S. 195–241.
32. *Shahova E.* Perst Bozhij // Russkaja romanticheskaja poema: Pervaja polovina XIX veka: Hrestomatija: V 2 t. T. 2. Belovo, 2003. S. 129–164.
33. *Ejhenbaum B. M.* Stat'i o Lermontove. M.; L.: Izd-vo AN SSSR, 1961. 372 s.